

Эмиль
Кронфельд



ЛОГОВО ЖНЕЦА



Эмиль Кронфельд

Логово жнеца

<https://litres.ru/74181787>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мир рухнул за четыре минуты. Этого времени достаточно, чтобы человек перестал быть человеком. Группа выживших нашла убежище, но ад пришел вместе с ними. Вода кончается, воздух пропитан страхом, а за стенами — стая, у которой больше нет имен.

Калев, бывший военный, несет на себе груз погибшего отряда. Эви, танцовщица, сбегаящая от прошлого, танцует с огнем в гнезде монстров. И маленький Ригги, несущий в себе вирус двадцать лет, знает правду: они не просто жертвы. Они — семя нового мира. Смогут ли они найти в себе силы не сойти с ума, когда человечность перестает быть гарантией выживания?

Содержание

Глава 1: Тишина перед срывом	4
Глава 2: Эволюция лжи	27
Глава 3: Глаза в темноте	48
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Эмиль Кронфельд

Логово жнеца

Глава 1: Тишина перед срывом

6:00

Бетон помнит всё.

Калеб Рейнс открывает глаза в полной темноте и первые три секунды не понимает, где он. Это старое, привычное, почти уютное чувство — потерянности между сном и явью. Потом бетон напоминает. Холод просачивается сквозь тонкий матрас, сквозь шерстяное одеяло, сквозь позвонки, добираясь до мозга. Запах сырости, плесени и ржавой воды заполняет ноздри.

Он не двигается. Лежит на спине, глядя в потолок, которого не видит. Где-то над ним — два метра земли, бетонное перекрытие, арматура и ещё метр гравия. Бункер тюремного блока «С-4» был построен в семьдесят девятом, чтобы выдержать прямой удар пятикилотонной бомбы. Калеб проверил документацию на второй день. С тех пор он спал чуть спокойнее. Чуть.

Кошмар уходит медленно, оставляя после себя привкус железа на языке. В том сне он снова в горах. Снег не красный, как в дешёвых фильмах ужасов, а серый — перемешан-

ный с грязью, пеплом и тем, что раньше было людьми. Он стоит над расщелиной и слышит голоса снизу. Не крики — уже нет. Тихие, спокойные просьбы: «Кaleb, просто скажи, что делать. Мы доверяем тебе. Мы всегда доверяли». А он закапывает их. Лопатой. Мерзлой землёй. Каждый комок падает на их лица, но они не закрывают глаз. Они смотрят.

Руки трясутся. Кaleb замечает это только когда садится и проводит ладонью по лицу — щетина колетса, пальцы дрожат как у алкоголика в ломке. Он сжимает их в кулаки. Костяшки хрустят. Больно. Хорошо.

— Вставай, Рейнс, — шепчет он в пустоту. Голос севший, будто он не пил сутки, хотя пил — воду, три кружки, перед сном. — Ты не в горах. Ты в тюрьме. Ты в безопасности.

Слова звучат как насмешка.

Он шарит рукой справа от койки, находит шершавую стену и ведёт пальцами по бетону. Холодный. Влажный. В некоторых местах выступила соль — белый налёт, похожий на иней. Кaleb проводит ногтем, соскребает крупинки и растирает между пальцами. Текстура — как песок. Он нюхает пальцы. Бетон пахнет известкой и подземной водой, той самой, что течёт где-то в ста метрах ниже, в древних коллекторах, построенных ещё при царе.

Ноги находят армейские ботинки с левой стороны кровати. Он всегда ставит их носками наружу — привычка, которую не сломал ни один гражданский сон. Шнурки завязаны двойным узлом. Кожа грубая, на подошве запёкшаяся грязь

двухнедельной давности. Калёб натягивает штаны, не вставая с койки, потом нащупывает футболку, потом — толстую армейскую куртку на флисовой подкладке. В бункерной сырости даже летом холодно.

Он встаёт. Голова чуть кружится — последствия недосыпа и того, что он ел вчера (тушёнка, галеты, вода). Калёб делает три шага к стене слева, где висит на гвозде единственное, что он взял с собой из прошлой жизни. Фотография.

Он не включает фонарик. Не нужно. Каждое утро он проводит пальцами по глянцевой поверхности и считывает лица как шрифт Брайля. Вот сержант Мартинес — широкие скулы, глубоко посаженные глаза. Он первым побежал к вертолёту и первым упал, когда снег под ним провалился. Вот капрал Харрис — короткая стрижка, шрам над бровью (упал в детстве с велосипеда). Его Калёб вытащил, но Харрис умер через час — внутреннее кровоотечение. Вот лейтенант Вашингтон — кудрявые волосы, широкая улыбка. Он смеялся, когда Калёб приказывал отступить. «Мы не отступаем, майор», — сказал он. Это были его последние слова.

Семь человек. Семь лиц. Калёб убрал фотографию в нагрудный карман четыре года назад и с тех пор не смотрел на неё при свете. Ему достаточно чувствовать их под пальцами. Помнить.

Он вешает фото обратно на гвоздь — аккуратно, уголок к уголку.

Потом идёт к двери. Тяжёлая стальная плита, закреплён-

ная на петлях из арматурных прутьев. Калёб отодвигает за-
сов — кусок рельса длиной в полметра — и выходит в ко-
ридор.

Коридор бункера «С-4» — это даже не коридор, а скорее щель в бетоне. Ширина — метр двадцать, высота — два метра. Вдоль стен — воздуховоды в гофрированной алюминие-
вой трубе, которые тянутся от аварийного генератора на пер-
вом уровне. Генератор работает на солярке, и её осталось на
два месяца, если экономить. Вдоль труб — следы конденса-
та. Калёб касается их пальцем — влажно, холодно.

На потолке — тусклый аварийный светильник аварийно-
го освещения: одна лампа на десять метров, едва теплящая-
ся, дающая ровно столько света, чтобы не наступить в лужу.
Лужи здесь есть. Бетон потрескался, и грунтовые воды про-
ступают сквозь микротрещины, собираясь в солёные лужи-
цы у стен.

Он идёт налево. Через семь шагов — поворот. Ещё пять
— лестница вниз, на первый уровень, где общая комната,
запас провизии и вода. Ступени металлические, рифлёные.
Каждый шаг отдаётся эхом, которое теряется где-то в глуби-
не.

Калёб спускается, считая ступени. Двадцать три. Всегда
двадцать три.

Внизу — помещение размером с гараж на две машины.
Стены такие же бетонные, но с побелкой — кто-то из про-
шлых обитателей пытался придать месту жилой вид. Побел-

ка облупилась, висят жёлтые разводы от сырости. Посередине — стол из фанеры на ножках от старой швейной машинки. Вокруг стола — три стула (четвёртый сломан, стоит у стены с подклеенной ножкой). В углу — стеллажи с банками, бутылками воды, коробками галет и сухого пайка. Рядом — газовая плита на баллончике (два баллона осталось). В противоположном углу — радиостанция, которую Вероника собрала из трёх убитых раций.

Калёб подходит к столу, садится. Чувствует, как дрожь в руках возвращается, когда он кладёт их на столешницу. Он смотрит на свои ладони. Шрамы. Мозоли. Грязь под ногтями, которую не вымыть ледяной водой. Ногти слоются.

Он закрывает глаза.

Семь лиц перед внутренним взором. Мартинес. Харрис. Вашингтон. Фергюсон. Ли. Рамирес. Гарсия.

«Я вытащу хоть кого-то, — думает он. — На этот раз. Клянусь».

Снаружи, где-то далеко — через два метра земли и бетона — раздаётся звук. Низкий, протяжный, похожий на мычание больного животного. Калёб открывает глаза и смотрит в потолок.

Звук повторяется. Потом стихает.

Калёб встаёт, идёт к радиостанции, проверяет частоты. Тишина. Ни голосов, ни кода азбукой Морзе. Только шипение.

— Никого, — шепчет он. — Всё ещё никого.

6:45

Эвелин Сол не просыпается — она выныривает.

Толчок в груди, резкий вдох, будто её держали под водой, и сердце начинает колотиться с первого удара. Глаза распахиваются, но ничего не видят — в её углу, отгороженном от общей комнаты рваной парусиной, нет даже аварийной лампы. Темнота плотная, липкая, как нефть.

Она лежит голая в спальнике из синтепона, который за два месяца превратился из тёплого в мокрый, пропахший её собственным потом и запахом бетонной сырости. Ткань липнет к телу. Эви откидывает край спальника и чувствует, как холодный воздух ударяет по вспотевшей коже — по груди, животу, бёдрам. Мурашки бегут от шеи до пят.

Она садится.

В темноте она видит свои руки — вернее, не видит, а чувствует их границы. Подносит ладони к лицу, касается кончиками пальцев щёк, лба, губ. Пальцы пахнут металлом и солью. Она проводит языком по губам — сухие, потрескавшиеся.

— Я здесь, — говорит она тихо. — Я всё ещё здесь.

Голос звучит чужеродно в бетонной коробке. Эви нравится этот звук. Она повторяет:

— Эви. Тебя зовут Эви. Тебе двадцать четыре года. Ты танцевала в «Ритмах» на Девятой линии. Твой босс — мудака. Твой парень — тоже мудака. Ты ненавидишь утро. Ты

любишь джаз. Ты не умеешь готовить. Ты не переносишь запах варёной капусты.

Она смеётся — коротко, нервно, прикрывая рот ладонью. Этот ритуал она придумала на десятый день в бункере, когда поняла, что стены не просто сжимаются — они начинают стирать её. Стирать Эви, танцовщицу из «Ритмов», которая выходила на сцену в перьях и стразах, под светом софитов, под музыку, которая течёт сквозь тело, как наркотик. Которая знала, что на неё смотрят. Которая нравилась себе в зеркале.

А теперь она сидит голая в темноте, пахнет потом и ржавчиной, и единственное зеркало в бункере — это потускневший кусок пластика в туалете, где она видит размытое пятно вместо лица.

Эви ощупывает своё тело.

Шея — длинная, тонкая. Ключицы — выступают сильнее, чем два месяца назад. Грудь — маленькая, упругая. Ребра прощупываются слишком отчётливо. Живот — впалый, мышцы напряжены. Бёдра — те самые бёдра, которые заставляли мужчин в «Ритмах» замирать с бокалами у барной стойки, — похудели, но всё ещё гладкие. Пальцы скользят ниже. Колени. Голени. Щиколотки.

Потом она нащупывает шрамы на левом бедре. Два. Один — длинный, от паха до середины бедра, тонкая белая линия. Второй — короткий, наискосок, похожий на молнию. Первый ей оставил бывший на третий год отношений — он раз-

бил бутылку и ударил осколком, когда увидел, как она танцует с другим в клубе. Второй — она сама, через месяц после того, как сбежала от него, когда боль внутри была сильнее, чем боль снаружи.

Эви проводит по шрамам кончиками пальцев — привычка, от которой она не может избавиться. Текстура рубцовой ткани отличается от кожи — она более плотная, гладкая, как пластик.

— Ещё не время, — шепчет она шрамам. — Не сегодня.

Она выбирается из спальника полностью. Ноги касаются бетонного пола — холод обжигает подошвы. Эви шипит сквозь зубы, но не встаёт на обувь. Она ходит по бункеру босиком всегда — так она чувствует поверхность, вибрации, изменения температуры. В «Ритмах» она танцевала босиком на сцене, когда зал был для избранных, и ей платили вдвойне.

Она идёт к «душевой».

Душ в бункере — это на самом деле стальная бочка на два пальца выше человеческого роста, подвешенная под потолком в закутке за парусиной. Вероника соорудила систему из пластиковых труб и ручного насоса. Вода — из подземного резервуара, ледяная, пахнет железом и чуть-чуть серой.

Эви поднимает клапан, хватается за верёвку дёргает насос. Три резких движения — и из лейки, сделанной из старой консервной банки с дырочками, начинает капать. Капли падают на её плечи — холодные, как иглы.

Она моется быстро. Трёт тело куском ткани, который заменяет мочалку, — серая, жёсткая, почти наждачная. Мыла нет уже три недели, только зола от сожжённых бумаг, смешанная с водой. Зола скрипит на коже, отшелушивает мёртвые клетки, оставляя за собой ощущение чистоты — почти.

Эви моет волосы. Длинные, тёмные, они доходят до лопаток, когда мокрые, и до пояса — когда сухие. Волосы — её гордость и её проклятие. В них застревает запах дыма, они путаются, их трудно расчёсывать пластиковой расчёской с тремя зубьями.

Она наклоняет голову назад, позволяя воде стекать по позвоночнику, по ягодицам, по задней поверхности бёдер. Закрывает глаза и представляет, что это не ледяная ржавая вода, а тёплый дождь, что она не в бетонной коробке, а в своей квартире на шестом этаже, где из окна видно крыши домов и телевизионную вышку.

Потом вода кончается — бочка была почти пуста. Эви открывает глаза, трет лицо ладонями и выдавливает из волос влагу.

Она выходит из-за парусины, натягивая чистое бельё — единственную пару, которую бережёт для особенно тяжёлых дней. Сегодня такой день. Она чувствует это нутром. Те дни, когда просыпаешься с предчувствием, всегда оказываются самыми плохими.

Бельё хлопковое, чёрное, без кружев — такие вещи она носила дома, когда никто не видел. Лифчик на косточках,

трусики-стринги. Не потому, что она хочет нравиться, а потому, что это напоминает ей, кто она есть. Эви не девушка в бункере. Она танцовщица, которая может раздеться на сцене под светом софитов и чувствовать себя королевой, а не жертвой.

Сверху — армейские штаны цвета хаки, которые она ушила по фигуре, обрезав штанины и подогнув пояс. Ноги такие штаны не греют, но в них она может двигаться — приседать, бежать, бить ногой. Футболка — мужская, серая, с надписью, которая стёрлась до нечитаемости. Она велика на три размера, спадает с одного плеча, открывая лямку лифчика.

Волосы она заплетает в тугую косу — чтобы не мешались. Пальцы быстро и ловко перебирают пряди, укладывая их в три секции. Движения отточены до автоматизма — сотни, тысячи раз в гримёрке перед выходом на сцену.

Когда она выходит в общую комнату, Калёб уже сидит за столом и чистит пистолет. Ружьё разобрано, детали лежат на промасленной тряпице. Пахнет смазкой и порохом.

— Доброе утро, — говорит Эви.

Калёб поднимает глаза. Его взгляд скользит по ней — от лица к босой ноге. Не раздевая, не оценивая. Оценивая. Так смотрят на снаряжение перед выходом.

— Ты босиком, — говорит он.

— Пол холодный. Я чувствую.

— Ты простудишься.

— Я не простужаюсь, — Эви садится на стул напротив

него, поджигает под себя ногу. — Я танцовщица. Мои босые ноги видели стёкла, лёд, сцену в клубе, где кондиционер работал на максимуме. Бетон меня не возьмёт.

Калёб не отвечает. Он берёт затворную задержку и протирает её тряпкой.

Эви смотрит на его руки. Трясутся.

Она ничего не говорит.

7:20

Завтрак консервами — это ритуал, который все выполняют молча.

Вероника Фрост разогревает на газовой плите банку тушёной говядины. Плита шипит, голубовато-жёлтое пламя лижет дно алюминиевой кастрюли. Запах мяса и жира заполняет бетонную коробку, смешиваясь с сыростью и дымом от сгоревшего газа. Эви морщит нос — запах слишком сильный, слишком плотный, почти осязаемый.

Вероника — женщина сорока пяти лет, которая выглядит на пятьдесят пять. Тонкое лицо, глубокие морщины вокруг рта и глаз, седые волосы, собранные в пучок на затылке, выбивающиеся пряди. Очки в металлической оправе с треснувшей левой линзой — трещина идёт от центра к краю, рассеивая свет, и Вероника привычно щурится, чтобы сфокусировать взгляд. Лабораторный халат, который она носила в первый день, превратился в грязную тряпку — она стирала его раз в неделю в той же ледяной воде, но пятна не отстирыва-

лись. Сейчас на ней толстый свитер крупной вязки (серый, растянутый на локтях) и чёрные армейские брюки, которые ей велики на два размера — она подвязала пояс верёвкой.

Рядом с плитой — миски. Четыре. Две глубоких (для тушёнки), две мелких (для сухарей и галет). Вероника раскладывает порции с точностью аптекаря — каждому одинаково. Семь ложек тушёнки Калебу, семь — Эви, семь — себе. Ригги — отдельно.

Ригги сидит в углу на перевёрнутом ящике из-под боеприпасов. Он не подходит к столу — никогда. Держит дистанцию в два-три метра, будто боится, что кто-то прикоснётся к нему. На вид ему лет шестнадцать — худой, узкоплечий, с тонкими руками, как у подростка в период роста. Волосы русые, свалившиеся, падают на глаза. Глаза — единственное, что выдает в нём нечто иное. Глаза старого человека. Выцветшие, с жёлтыми белками, глубоко посаженные, с таким выражением... с которым смотрят те, кто видел слишком много и слишком долго.

Он одет в несколько слоёв — нижняя футболка (грязно-белая), поверх неё байка (синяя, с катышками), сверху — военная куртка с чужого плеча, рукава закатаны. На ногах — кроссовки, которые разваливаются, подошва держится на честном слове и изоленте.

Ригги ест из своей миски. В ней — только сухари. Два квадрата армейского галета, раскрошенных в миску и залитых кипятком. Получается серая каша без вкуса и запа-

ха. Он ест медленно, пластиковой ложкой, поднося её ко рту с осторожностью, будто каждое движение может причинить боль.

Эви смотрит на него.

— Мясо не будешь? — спрашивает она.

Ригги качает головой.

— Оно живое, — говорит он тихо. Голос ломается на последнем слоге, как у подростка.

— Оно мёртвое. Мы его убили и законсервировали.

— Оно было живое, — повторяет Ригги. — Я чувствую.

Эви хочет возразить, но Вероника опережает её.

— Оставь, Эви. У Ригги свои... особенности.

Голос Вероники спокойный, профессиональный. Даже здесь, в бункере, на тридцатый день после падения города, она говорит, как на лекции в университете. Каждое слово выверено, лишних нет.

Эви отворачивается и начинает есть. Тушёнка холодная — Вероника разогрела только одну банку, и та быстро остыла. Жир застывает белыми комками на поверхности мяса. Эви отправляет ложку в рот и жуёт, не чувствуя вкуса. Только текстура — волокнистая, жирная.

Калёб ест молча, ритмично, как машина. Ложка в рот. Жевать. Глотать. Ложка в миску. Он не смотрит на еду — его взгляд направлен в дальний угол стола, где лежит карта подземных коммуникаций, которую они нашли в кабинете начальника тюрьмы. Карта старая, с жёлтыми пятнами, с над-

писями от руки.

Вероника ставит свою миску и откидывается на спинку стула. Очки съезжают на кончик носа, она поправляет их указательным пальцем.

— Я вчера слушала радио, — говорит она. — Чуть выше двадцати мегагерц. Там были помехи, но я разобрала кое-что.

Все замирают.

— Что? — спрашивает Калёб.

— Говорили о поведении крыс.

— Крыс? — Эви перестаёт жевать. — Ты вытащила нас из сна ради крыс?

— Крысы — синантропные животные. Они следуют за человеком. Пока есть люди, крысы рядом. Но в городе... — Вероника делает паузу, трёт переносицу. — В городе крыс больше нет. Ни одной. Оператор сказал, что их как будто съели. Всех. За одну ночь.

Тишина.

Калёб откладывает ложку.

— Ты хочешь сказать, что твари едят даже крыс?

— Я хочу сказать, что они адаптируются. Вирус — это не просто инфекция. Это... перепрограммирование. Организм начинает перестраиваться в поисках более эффективной формы. Крысы — отличный источник белка. Почему бы не съесть их всех?

Ригги поднимает голову от миски. Его лицо не меняется

— оно всегда непроницаемо, как камень.

— Они едят не потому, что голодны, — говорит он. — Они едят, потому что так узнают.

Вероника смотрит на него:

— Что узнают?

— Кто ты. Откуда ты. Твой запах. Твою кровь. Они едят тебя, чтобы стать тобой. Немного. Кусочек за кусочком.

Эви чувствует, как к горлу подступает тошнота. Она сглатывает, сжимает ложку в кулаке.

— Ригги, заткнись, пожалуйста, — говорит она.

Ригги замолкает. Но его губы шевелятся — беззвучно, будто он разговаривает сам с собой.

Калёб замечает странный тик у Ригги — тот дёргает шеей. Резко, будто кто-то щёлкнул его по затылку. Голова дёргается влево, потом возвращается. Через три секунды — снова.

— Ты в порядке? — спрашивает Калёб.

— В порядке, — отвечает Ригги, не поднимая глаз.

— У тебя шея дёргается.

— Давление перепады. В бункере всегда.

Калёб не верит. Он видел такие тики у людей, которые стояли на минном поле слишком долго. Это был не стресс. Это было что-то другое.

Вероника тоже заметила. Она переглядывается с Калёбом через стол. Никто ничего не говорит.

Эви доедает тушёнку. Вытирает миску куском сухаря и отправляет в рот. Жуёт. Смотрит на серые стены. На един-

стенную лампу под потолком, которая мигает раз в десять секунд — неисправный контакт.

— Сколько мы ещё здесь просидим? — спрашивает она.

— Я серьёзно. Это уже месяц. У нас кончается газ. Вода скоро будет только из того отстойника, где мы моем руки. Еды — может быть, ещё на три недели.

— Пока не придёт помощь, — говорит Калёб.

— А если она не придёт?

— Придёт.

— Ты не знаешь этого.

— Я знаю, что армия не бросает своих.

Эви смотрит на него с усмешкой.

— Калёб, ты не в армии. Ты — мужик, который уволился четыре года назад и теперь сидит в тюрьме с двумя бабами и странным подростком. Ты никем не командуешь.

Калёб медленно поворачивается к ней. Его лицо ничего не выражает — тренированное спокойствие человека, который привык к оскорблениям.

— Командую, — говорит он тихо. — Потому что вы пока живы. А когда я перестану командовать, вы умрёте через три дня. Это факт, Эви. Не обида.

Эви хочет возразить, но Вероника поднимает руку.

— Хватит. У нас есть план действий на сегодня. Калёб, ты проверишь оружейную комнату на втором уровне. Эви, ты займёшься сортировкой воды — надо перелить из бочек в бутылки, чтобы не застаивалась. Я — радио и генератор.

Ригги...

Она смотрит на подростка.

— Ригги просто сидит и не делает ничего странного. Договорились?

Ригги кивает. Шея снова дёргается.

Калёб встаёт. Бросает взгляд на карту, висящую на стене. Потом переводит взгляд на дверь, ведущую наверх — к выходу на поверхность. За ней — три металлических лестничных пролёта, гермодверь, ещё один коридор и люк. Люк заперт на два засова и цепь.

— Сегодня проверю датчики наверху, — говорит он. — Перископ. Надо знать, что там происходит.

— Там ничего не происходит, — Эви обнимает себя руками. — Только пустота и эти... звуки.

— Какие звуки? — Вероника поднимает голову.

— Вы не слышите? По ночам. Будто кто-то царапает по металлу. Снаружи. Сверху.

Все замирают. Слушают.

Тишина.

Потом — далеко, сквозь толщу бетона и земли — раздаётся низкий, протяжный звук. Такой же, как утром. Мычание больного животного. Или голос человека, у которого перерезали горло, но он всё ещё пытается звать на помощь.

— Это ветер, — говорит Калёб. — Вентиляционные шахты гудят.

— Ветер не мычит, — шепчет Эви.

7:55

Скрежет начинается внезапно.

Один миг — тишина, только шипение газа на плите. Следующий — металл визжит, будто кто-то водит ножом по стальной двери. Звук высокий, пронзительный, режущий по нервам, от которого сводит зубы и подкашиваются колени.

Все замирают.

Звук идёт сверху. С уровня земли. Оттуда, где люк.

Калёб уже на ногах, даже не помня, как встал. Ноги сами несут его к стене, где на крюках висит оружие: два автомата (старые, ещё советские, но смазанные и заряженные), дробовик (ремонтный, с новым стволом), три пистолета. Он хватается ближайший автомат — тяжесть привычная, успокаивающая. Проверяет магазин. Полный. Щёлкает затвором. Патрон дослан.

Вероника выключает плиту одним движением. Газ шипит и смолкает. Она хватается со стола карту и аптечку — всегда рядом, на поясе, как кобура.

Эви вжимается в стену. Её тело реагирует первым — ноги подкашиваются, руки дрожат, сердце колотится где-то в горле. Она делает глубокий вдох, как учили в «Ритмах» перед выходом на сцену, когда страх сковывал мышцы. Вдох — животом, выдох — ртом. Повторить. Ещё раз.

Ригги не двигается. Он сидит на ящике и смотрит в потолок. Смотрит так, будто видит сквозь бетон. Шея дёргается

чаще — раз в две секунды.

— Ко мне! — командует Калёб шепотом, но шепот жёсткий, режущий.

Вероника и Эви прижимаются к стене рядом с ним. Калёб жестом показывает — за мной. Они движутся к лестнице наверх — не к выходу, а к смотровому посту. К перископу.

Лестница металлическая. Ступени вибрируют от каждого шага. Калёб поднимается первым, держа автомат наготове, стволом вверх. Вероника за ним, держась за поручень. Эви последняя — она наступает на подол штанины и чуть не падает, но ловит равновесие в последний момент.

Третий уровень. Коридор уже — метр в ширину. Стены не бетонные, а стальные — гофрированные листы, скреплённые заклёпками. Лампы здесь нет — только темнота, которую разгоняет фонарик на автомате Калеба. Свет выхватывает куски ржавчины, надписи, оставленные строителями в 79-м году, чьи-то инициалы, выцарапанные гвоздём.

Перископ — в конце коридора, за массивной стальной дверью с герметичным затвором. Калёб откручивает вентиль. Механизм стонет, но поддаётся — ржавчина счищена, Калёб проверял и смазывал каждые три дня. Дверь открывается внутрь, в маленькую кабинку — полтора на полтора метра, с единственным прибором.

Перископ — военный, бронированный, с системой зеркал, выведенных на поверхность. Окуляр — на уровне глаз. Калёб приникает к нему.

— Что там? — шепчет Эви.

Он не отвечает.

В поле зрения — двор тюрьмы. Бетонная площадка, заросшая бурьяном, который пробивается сквозь трещины. Ограждение — колючая проволока в три ряда, частично поваленная. Вышка с прожектором — стёкла разбиты, прожектор висит на одном болте. И небо — серое, низкое, с тучами, которые не двигаются уже неделю.

И человек.

Человек бредёт по двору. Мужчина. Лет сорока. В рваном пальто, одна рука висит плетью — сломана. Лицо бледное, как у мертвеца, но он идёт. Шатается. Останавливается. Смотрит по сторонам.

Потом замечает люк — стальной купол, торчащий из земли на полметра, присыпанный гравием. Видит его. Начинает кричать.

Калёб не слышит звука — люк герметичный, звукоизоляция почти идеальная. Но он видит, как открывается рот мужчины. Как дергаются губы. Как появляется беззвучный крик.

— Помогите! — выдыхает Эви, когда Калёб отходит от перископа. Она уже приникла к окуляру. — Боже, он просит помощи!

— Эви, отойди.

— Он человек, Калёб! Живой человек!

— Отойди от перископа, я сказал.

Вероника оттаскивает Эви за плечо. Танцовщица сопро-

тивляется — вырывается, толкает учёную локтем. Вероника охает, но не отпускает.

Калёб снова смотрит.

Мужчина во дворе падает на колени. Кричит — глаза широкие, рот открыт. Потом хватается за голову. Пальцы запускаются в волосы — и вырывают клочок.

Кровь. Калёб видит кровь, которая течёт по лицу мужчины, но тот не обращает внимания. Он бьёт себя по голове. По лицу. По груди.

— Вирус, — шепчет Вероника. — Быстро. Очень быстро.

Лицо мужчины начинает меняться. Не сразу — сначала кожа сереет, набухает, будто под неё закачивают жидкость. Потом черты лица «стекают» — нос расплющивается, губы растягиваются, открывая дёсны, зубы выпадают и тут же растут новые — крупнее, жёлтые, острые.

Руки. Калёб не может отвести взгляд от рук. Пальцы удлиняются, суставы выворачиваются, ногти чернеют и загибаются — роговые пластины длиной в два сантиметра, похожие на когти.

Мужчина падает на четвереньки. Его позвоночник хрустит — слышно даже сквозь перископ, вернее, Калёб видит, как выгибается спина, как позвонки перестраиваются. Одежда трещит по швам — тело увеличивается, мышцы набухают, рвут ткань.

— Боже, — Эви закрывает лицо руками. Она не смотрит в перископ, но её воображение рисует картины. — Боже, сде-

лай что-нибудь!

— Что я должен сделать? — Калёб не отрывается от окуляра. — Выходить туда — значит стать таким же.

— Ты можешь застрелить его! Избавить от мучений!

— Из пневматического ружья, которое у нас есть? Перископ не выдержит выстрела из автомата, разлетится на куски. А если я открою дверь, чтобы выстрелить на улицу, они ворвутся внутрь.

Эви бьёт кулаком в стену. Костяшки мокнут от холодной влаги, но боли она не чувствует. Только гнев. Гнев, который мешается со страхом, с отвращением, с чем-то ещё — с тошнотворным любопытством.

— Мы же не можем просто стоять и смотреть! — кричит она.

— Можем, — говорит Вероника спокойно. — И будем. Потому что, если мы выйдем, умрём не только мы. Умрёт надежда на то, что кто-то останется человеком.

Мужчина во дворе перестаёт кричать. Из его горла вырывается нечто среднее между лаем и рыком. Он встаёт на задние лапы — теперь он почти два метра ростом, сгорбленный, с длинными руками, которые касаются земли. Он поворачивает голову — лицо неузнаваемо, осталась только тень человека.

Он смотрит прямо в объектив перископа.

Калёб отшатывается.

Дрожит.

Автомат дрожит в его руках.

Он закрывает глаза и видит семь лиц. Мартинес. Харрис. Вашингтон. Фергюсон. Ли. Рамирес. Гарсия.

«Я вытащу хоть кого-то», — думает он. — «Клянусь».

За дверью, на лестнице, Эви начинает тихо плакать. Вероника обнимает её за плечи.

Ригги остался внизу. Он сидит на ящике и смотрит в потолок. Его губы шевелятся.

— Семнадцать, — шепчет он. — Восемнадцать. Девятнадцать. Я всё ещё считаю.

Снаружи — наверху — раздаётся топот. Множество лап. Или ног. Или того и другого.

И тишина.

Глава 2: Эволюция лжи

8:15

Калёб стоит у стальной двери, ведущей на лестницу к смотровому посту, и слышит, как его собственное сердце отбивает ритм похоронного марша. Автомат всё ещё в руках — пальцы побелели, вцепившись в цевьё так, будто оружие может спасти его от того, что он только что видел.

Эви стоит, напротив. Глаза красные, щёки мокрые, но слёзы уже высохли — остались только дорожки на пыльном лице. Коса растрепалась, тёмные пряди прилипли к вискам. Она сжимает и разжимает кулаки. Ногти впиваются в ладони.

— Открой дверь, — говорит она. Голос низкий, почти рык.

— Нет.

— Там был человек. — Эви делает шаг вперёд. — Человек, который просил о помощи. А ты просто смотрел. Мы все смотрели.

— Я смотрел, чтобы понять, насколько опасно.

— Опасно? — Она смеётся — горько, с надрывом. — Ты называешь это «опасно»? Он превратился в монстра у тебя на глазах! Ты видел, как его лицо стекло, как кости хрустели! А ты говоришь «опасно»!

— Эви, — Вероника пытается вмешаться, положить руку

на плечо танцовщицы, но та сбрасывает ладонь, как насекомое.

— Не трогай меня! — кричит Эви. — Вы оба — вы такие же, как эти твари! Снаружи! Вы смотрите на смерть и ничего не чувствуете! У тебя — Вероника, — она поворачивается к учёной, — у тебя вместо сердца пробирка! А ты, Калёб, — её палец упирается ему в грудь, прямо в то место, где под курткой спрятана фотография, — ты просто трус!

Слово повисает в воздухе, тяжёлое, как свинец.

Тишина длится три секунды.

Калёб делает шаг вперёд — медленно, плавно, как хищник, который не спешит, потому что жертва уже обречена. Эви не отступает. Она поднимает подбородок, сжимает губы, смотрит прямо в его глаза.

— Что, правда глаза режет? — шепчет она.

Калёб бьёт кулаком в стену.

Не в лицо Эви — в бетон. Кулак врезается в серую поверхность с глухим, мокрым звуком. Бетон не поддаётся — это не гипсокартон, не фанера, это военная крепость, которая выдержала холодную войну. Но звук... звук такой, будто кто-то ударил молотом по мокрой глине.

Эви вздрагивает, когда кулак проходит в сантиметре от её щеки. Она чувствует ветер от удара — воздух толчком ударяет в лицо.

Она смотрит на стену.

Осталась вмятина. Глубокая, сантиметра два, с трещина-

ми вокруг. Кровь — костяшки Калеба разбиты, кожа содрана до мяса. Алая жидкость течёт по бетону, смешиваясь с пылью и солью, оставляя тёмные разводы.

— Трус, — повторяет Калёб. Голос тихий, спокойный, почти ласковый. — Ты назвала меня трусом. Хорошо. Объясни мне, Эви. Объясни, как выглядит храбрость. Это когда я открываю дверь, выхожу во двор, и меня разрывают на части тридцать тварей? Это храбрость? Или это идиотизм?

— Это лучше, чем сидеть здесь и ждать, пока они сами войдут!

— Они не войдут. Дверь герметичная. Засовы — рельсы. Они не вскроют.

— Откуда ты знаешь? Ты видел, что они делают с людьми! Ты видел, как этот мужик превратился! Если они смогли перестроить кости за пять минут, они смогут открыть грёбаную дверь!

— Нет, — Калёб качает головой. — Не смогут. Потому что для этого нужен интеллект. А то, во что он превратился... — он замолкает, подбирает слова. — Там нет человека. Там только мясо. Мясо, которое двигается и убивает. Но оно не думает.

— Ты уверен?

Калёб смотрит на свою разбитую руку. Кровь капает на бетонный пол. Капля. Ещё капля.

— Нет, — признаёт он. — Но я надеюсь.

Эви отворачивается. Закрывает лицо ладонями. Плечи

трясутся — от плача.

— Мы ничем не отличаемся от них, — говорит она в ладони. — Ничем. Если мы перестанем помогать людям... если будем сидеть здесь, пока снаружи кто-то кричит... то мы такие же монстры. Просто в другой форме.

Вероника подходит к ней. Осторожно, как к дикому животному.

— Эви, послушай меня. — Голос учёной мягкий, но твёрдый. — Мы не можем спасти всех. Мы не можем спасти никого, если умрём сами. Ты хочешь помогать — правильно. Ты хочешь сохранить человечность — благородно. Но человечность включает в себя и самосохранение. Мёртвый герой никому не нужен.

Эви убирает руки от лица. Её лицо — опухшее от слёз, но взгляд уже другой. Не злой. Усталый.

— Ты когда-нибудь танцевала, Вероника? — спрашивает она.

— Что? Нет. Я биолог.

— А я танцевала. И знаешь, чему нас учили в первую очередь? Не пируэтам. Не растяжке. Страху. Нас учили, что страх — это не враг. Это топливо. Ты можешь бояться, но ты должна выйти на сцену и сделать так, чтобы никто не заметил. — Она вытирает лицо рукавом футболки. — Сейчас я вышла бы на сцену. А вы — вы прячетесь за кулисами.

Калёб поднимает автомат, передёргивает затвор.

— Я не прячусь. Я готовлюсь. Есть разница.

— Какая?

— Прячется тот, кто не знает, что делать. А я знаю. Мы сидим здесь, ждём помощь, и остаёмся живыми. Это план. Это не трусость. Это стратегия.

— Стратегия, — Эви кривит губы. — Ты бы ещё сказал «тактика». Военные термины, чтобы звучать умно.

— Не умно. Правильно.

Внизу, в общей комнате, Ригги начинает тихо напевать. Мотив незнакомый — не песня, скорее молитва на неизвестном языке. Звуки гортанные, с щёлканьем, похожие на птичий щебет.

Калёб бросает взгляд на лестницу.

— Ригги, заткнись! — кричит он.

Напев прекращается.

Тишина.

Эви смотрит на вмятину в стене. Смотрит на кровь Калеба на бетоне. Смотрит на его руки — они не трясутся сейчас. Сейчас он спокоен, как удав перед броском.

«Интересно, — думает она. — Что он сделает, когда помощь не придёт? Через неделю. Через месяц. Когда кончится еда».

Вслух она не говорит ничего.

8:40

Вероника снова у перископа.

Эви осталась внизу — спустилась по лестнице, села на

свой ящик в углу, обхватила колени руками. Не плачет. Не говорит. Просто смотрит в одну точку на стене — туда, где трещина в бетоне напоминает очертания материка.

Калёб стоит у двери, держа автомат наготове. Глаза не отрываются от перископа.

— Что там? — спрашивает он.

Вероника не отвечает минуту. Две. Потом отходит, выпрямляется, поправляет очки треснувшей линзой.

— Он ушёл, — говорит она. — Вернее, она.

— Кто?

— То, во что он превратился. Оно ушло в сторону тюремных корпусов. Но сначала...

— Что сначала?

Вероника снимает очки, протирает стёкла подолом свитера. Без очков её глаза кажутся маленькими, заплывшими, уставшими.

— Сначала оно посмотрело в перископ. Прямо в объектив. И... я не знаю, как объяснить. В его глазах было узнавание. Не осознанность, нет. Но что-то. Понимание, что за ним наблюдают.

Калёб качает головой.

— Тебе показалось. Стекла грязные.

— Я учёный, Калёб. У меня не бывает «показалось». Я видела то, что видела. — Она надевает очки обратно. — Регрессивный вирус. Быстрая мутация. Я читала о чём-то подобном в диссертации одного японского коллеги в 2018-

м. Он изучал эффект деактивации генов, отвечающих за неокортекс. При определённых условиях...

— Вероника, — перебивает Кaleb. — Говори по-человечески.

Она вздыхает. Смотрит на него поверх очков.

— Он делает нас австралопитеками за пять минут. Регресс. Не эволюция вперёд — назад. Гоминиды, только очень агрессивные. Генетическая память включает механизмы, которые спали миллионы лет. Мы становимся тем, кем были до того, как научились говорить, думать, жалеть.

— И как это остановить?

— Никак. Ты просто ждёшь, пока твоё тело не перестроится полностью. Нервные окончания перестраиваются в первую очередь — поэтому они не чувствуют боли. Кости идут следом — поэтому так быстро меняется форма черепа и позвоночника. Мышечная ткань... — она замолкает. — Мышечная ткань просто набухает. Не растёт, нет. Меняет плотность. Становится жёстче, как каучук.

Кaleb сглатывает. Горло сухое, язык прилипает к нёбу.

— Тот мужчина... сколько ему оставалось?

— С момента заражения до полной трансформации? Я видела три фазы. Первая — кожа сереет, появляется тремор. Вторая — кости начинают хрустеть, конечности удлиняются. Третья — завершение. У него это заняло... четыре минуты? Пять?

— Четыре минуты, — говорит Кaleb. — Я засёк. От пер-

вого крика до того, как он встал на четвереньки.

— Значит, агрессивный штамм. Молниеносный. — Вероника трёт переносицу. — Обычно процесс занимает несколько часов. Но этот... этот разработан, чтобы убивать быстро.

— Разработан? — Кaleb поворачивается к ней. — Ты сказала «разработан»?

Вероника молчит. Слишком долго.

— Вероника.

— Это неважно сейчас.

— Это важно. Ты сказала «разработан». Кем? И зачем?

Учёная смотрит на свои руки. На пальцы — тонкие, с обкусанными ногтями, с чернильными пятнами от старых записей.

— Я не знаю точно, — говорит она. — Но у меня есть гипотеза. И она тебе не понравится.

— Мне уже ничего не нравится. Говори.

— Возможно, это не случайность. Возможно, этот вирус... кто-то создал его специально. Чтобы очистить планету. Оставить только тех, кто сможет адаптироваться. Или тех, кто не заразится.

— Таких нет?

— Таких... — Вероника запинается. — Я не знаю. Может быть, есть единицы. Может быть, дети. Или люди с определённым генным маркером. Я не знаю.

Кaleb отворачивается. Бьёт кулаком по стене — той же рукой, что уже разбита. Кровь брызгает на бетон.

— Твою мать, — шепчет он. — Твою мать.

Эви внизу поднимает голову. Слышит его голос. Слышит, как он ломается на последнем слове — не от страха, от ярости.

Она встаёт, идёт к лестнице.

— Что там? — кричит она.

Никто не отвечает.

Она поднимается наверх. Видит Калеба — он стоит, приклонившись лбом к стене, сжав автомат так, что костяшки побелели. Видит Веронику — та сидит на корточках, обхватив голову руками. Очки съехали на лоб.

— Что случилось? — повторяет Эви.

Калев поднимает голову. Его глаза — красные, с лопнувшими сосудами. На щеках — не слёзы, пот.

— Ничего, — говорит он. — Просто реальность.

Эви подходит к перископу. Заглядывает.

Двор пуст. Только тёмные пятна на бетоне — там, где кровь мужчины смешалась с грязью. И клочья волос, которые он вырвал сам. И осколки зубов.

— Где он? — спрашивает она.

— Ушёл, — говорит Вероника, не поднимая головы. — К остальным.

— К остальным?

— Ты думала, он один? — учёная поднимает глаза. — Эви, их там сотни. Может быть, тысячи. Они приходят из города. Они заражают друг друга. Они превращаются и со-

бираются в стаи.

— Стаи, — повторяет Эви. Слово звучит чужеродно. Словно Вероника описала волков или гиен. Не то, что полчаса назад было человеком.

— Стаи, — кивает Вероника. — У них есть иерархия. Альфа-самцы. Может быть, даже... что-то вроде матки. Как у насекомых.

— Боже, — Эви отходит от перископа. — Боже, боже, боже.

— Прекрати, — Калёб выпрямляется. — Прекрати ныть. Ты хотела правды? Ты её получила. Мы в аду. Мы заперты в бункере, а снаружи — тысячи тварей, которые хотят нас сожрать или превратить в таких же. Помощь не придёт, потому что тем, кто должен был её прислать, плевать. Мы одни. Всё. Точка.

Он поворачивается и идёт вниз по лестнице. Шаги гулкие, тяжёлые.

Эви смотрит ему вслед.

— Ты сдаёшься, — говорит она тихо.

Калёб останавливается. Не оборачивается.

— Нет, — говорит он. — Я принимаю реальность. Это разные вещи.

Он уходит.

Эви остаётся наверху с Вероникой. Учёная всё ещё сидит на корточках, глядя в пол.

— Почему он так? — спрашивает Эви.

— Потому что он был военным. Они учат принимать неизбежное. — Вероника встаёт, поправляет очки. — И потому что он уже потерял один отряд. И боится потерять этот.

— Но мы не его отряд.

— Для него — мы. Потому что больше никого нет.

Они спускаются вниз.

9:00

Общая комната кажется меньше, чем обычно. Или это просто чувство после того, что они увидели.

Калёб сидит за столом, перевязывает разбитую руку. Пальцы всё ещё трясутся — он не может справиться с бинтом, полоска ткани выскальзывает из рук, падает на пол. Он поднимает её, пытается снова. Снова выскальзывает.

Эви стоит в дверях и смотрит.

— Дай помогу, — говорит она.

— Не нужно.

— У тебя руки трясутся. Ты не завяжешь даже узел.

— Я сказал, не нужно.

Но Эви уже подходит. Садится на корточки перед ним, берёт бинт. Пальцы у неё тонкие, гибкие, танцовщицы — они двигаются быстро и точно, накладывая бинт на разбитые костяшки. Калёб замирает. Смотрит, как она работает.

— Ты делала это раньше, — говорит он.

— В клубе часто были драки. Я подрабатывала медсестрой для танцоров. Пластырь, лёд, бинты. Всё как тут, только

музыка громче и света больше.

Она завязывает узел. Аккуратно.

— Готово.

Калеб смотрит на свою руку. Бинт белый, быстро пропитывается кровью, становясь розовым.

— Спасибо, — выдавливает он.

— Не за что.

Она не встаёт. Остаётся на корточках, глядя ему в лицо. Изучает. Морщины у глаз, седые волосы на висках, шрам на подбородке — от пули? от осколка? Она не спрашивает.

— Ты боишься? — спрашивает она.

Калеб молчит.

— Я боялась на сцене, — продолжает Эви. — Каждый раз. Перед выходом. Стою за кулисами, слушаю музыку, и сердце колотится так, что кажется, его слышно в зале. Дрожь в коленях. Руки холодные. Иногда меня тошнило.

— И что ты делала?

— Выходила. Потому что иначе какой смысл? Если я останусь за кулисами, я никогда не узнаю, смогу ли я. Адреналин — это наркотик, Калеб. Самая сильная дурь. Лучше любого кокса, чище любого экстази. Когда ты на грани, когда твоя жизнь висит на волоске, ты чувствуешь себя... живой. По-настоящему. Не как здесь — в этом бетонном гробу.

— Здесь другая грань.

— Та же самая. Смерть — она одна. Не важно, умрёшь ли ты от пули монстра или от передоза на сцене. Главное — как

ты чувствуешь себя до.

Она пододвигается ближе. Колени касаются его коленей.

— Я хочу что-то почувствовать, Калёб. Что-то, кроме страха.

Он смотрит на неё. На её лицо — бледное, с припухшими после слёз веками. На её губы — сухие, потрескавшиеся, но всё ещё красивые, всё ещё манящие. На её шею — тонкую, с синей жилкой, бьющейся в такт сердцу.

— Что ты предлагаешь? — спрашивает он.

Эви наклоняется вперёд.

И целует его.

Не нежно. Не романтично. Грубо, почти агрессивно — впивается губами, кусает нижнюю губу, пока не чувствует вкус крови. Металлический, солёный, настоящий. Калёб не отвечает первые две секунды — замирает от неожиданности. Потом его руки сами поднимаются, обхватывают её талию, притягивают ближе.

Эви стонет в поцелуй — не от удовольствия, от облегчения. Наконец-то что-то происходит. Наконец-то не просто слова, не просто ожидание, не просто страх. Действие.

Она отрывается от его губ, смотрит в глаза. В трёх сантиметрах.

— Если мы умрём, — шепчет она, — я хочу хотя бы раз трахнуть мужика, который не ссыт.

Калёб сглатывает. Его руки на её талии дрожат.

— Ты не в себе, — говорит он.

— Я никогда не была в себе. Я танцовщица. Вся моя жизнь — быть не в себе.

Она снова целует его, теперь жёстче. Её пальцы запутываются в его волосах — коротких, жёстких, с сединой на висках. Она тянет за них, заставляя запрокинуть голову, и прикусывает его кадык. Калёб издаёт низкий, горловой звук — не то стон, не то рык.

— Эви, — его голос хриплый. — Не здесь. Не сейчас.

— А где? В спальнике? В душевой? — она смеётся ему в шею. — Какая разница, Калёб. Бетон везде одинаковый. Холодный. Серый. Ты хочешь умереть девственником?

— Я не девственник.

— Тогда тем более.

Она расстёгивает его куртку. Пуговицы — большие, пластиковые, поддаются легко. Под курткой — футболка, серая, старая. Эви тянет её вверх, открывая живот — мускулистый, со шрамами, с дорожкой тёмных волос от пупка ниже.

Калёб перехватывает её руки.

— Эви, стоп.

Она замирает.

— Что? — её голос резкий. — Не хочешь? Или боишься, что я расскажу Веронике?

— Не в этом дело.

— А в чём?

Он смотрит на её руки в своих — худые, с длинными пальцами, с грязью под ногтями.

— Дело в том, что, если мы это сделаем, это уже нельзя будет отмотать назад. Ты станешь моей ответственностью.

— Я и так твоя ответственность.

— Нет. Сейчас ты — гражданская, которую я защищаю. А после... — он замолкает. — После будет по-другому.

Эви высвобождает руки.

— Ты слишком много думаешь, — говорит она. — Это тебя и убивает.

— Это меня и держит в живых.

Она откидывается назад, садится на пол, скрестив ноги. Проводит рукой по волосам — коса совсем растрепалась, тёмные пряди падают на лицо.

— Ладно, — говорит она. — Не хочешь — не надо. Но предложение остаётся в силе.

— Я запомню.

— Запиши, а то забудешь. У стариков память плохая.

Кaleb почти улыбается. Почти.

Сверху, с потолка, доносится скрежет — снова. Но теперь тише, дальше. Твари уходят. Или затаились.

Эви поднимает голову вверх.

— Они нас слышат? — спрашивает она.

— Не знаю.

— А если слышат? Если они понимают, что мы здесь?

— Тогда нам конец.

Она смотрит на него. В её глазах — не страх. Любопытство.

— Знаешь, — говорит она. — Раньше, когда я танцевала, мужчины смотрели на меня как на мясо. Глаза такие же, как у тех тварей. Голодные. Хищные.

— И что ты делала?

— Улыбалась. Потому что я знала — я им не принадлежу. Они смотрят, а я танцую. Я веду.

Она встаёт, одёргивает футболку, поправляет штаны.

— Сейчас я тоже веду. Помни об этом.

И уходит в свой угол за парусину.

9:30

Их прерывает Ригги.

Подросток появляется в дверях общей комнаты бесшумно — никто не слышал его шагов. Он стоит, сутулый, в своей грязной куртке, и держит в руках свёрток бумаги.

— Нашёл, — говорит он. Голос тихий, хриплый.

— Что нашёл? — Калёб встаёт из-за стола.

Ригги подходит ближе. Разворачивает бумагу — это старая карта, пожелтевшая, с надрывами по краям. Формат А3, склеенная из четырёх листов. На ней — схема подземных коммуникаций. Коллекторы. Тоннели. Технические этажи.

— Это было у начальника тюрьмы, — говорит Ригги. — Под половицей в его кабинете. Я нашёл вчера, но не показывал. Хотел проверить.

— Проверить что? — Вероника подходит ближе, наклоняется над картой. Очки съезжают на кончик носа.

— Проверить, не врёт ли карта. Я ходил вниз. До первого коллектора. — Ригги тычет пальцем в нижний левый угол. — Здесь вход. Я его открыл. Он не заперт.

Калёб смотрит на карту. Коллектор проходит под тюрьмой, ведёт на восток, к окраинам города. На карте отмечены ответвления. Одно из них помечено красным крестом — «Объект 17, склад военного имущества».

— Склад, — читает Вероника. — Военный склад. Возможно, там есть противогазы. Средства защиты. Может быть, даже лекарства.

— Или патроны, — добавляет Калёб. — И еда.

Эви выходит из-за парусины. Волосы заплетены заново, лицо чистое.

— Вы хотите идти в эти... коллекторы? — она смотрит на карту. — Туда, где темно и узко? Где эти твари могут быть везде?

— Там может быть выход, — говорит Ригги. — Тоннели ведут за пределы тюрьмы. Может быть, мы сможем выбраться.

— Или заблудимся и умрём от голода в темноте.

— Или, — Ригги поднимает голову. Его глаза — старые, выцветшие — смотрят на Эви с неожиданной серьёзностью. — Или мы найдём способ защититься. Противогазы — это не только защита от газа. Фильтры могут задерживать споры вируса, если он передаётся воздушно-капельным путём.

Вероника кивает.

— Он прав. Вирус может мутировать. Сейчас он передаётся через слюну и кровь. Но если он станет аэрозольным... тогда защита нужна каждому.

Калёб смотрит на карту. Проводит пальцем по линии колледжатора.

— Сколько идти до склада?

— Два километра, — говорит Ригги. — По карте. Но в реальности — дольше. Там могут быть завалы. Обрушения.

— И твари.

— И твари, — соглашается Ригги.

Калёб поворачивается к Веронике.

— Что думаешь?

Учёная трёт переносицу. Снимает очки, протирает их, надевает обратно. Медлит.

— Если мы останемся здесь, умрём. Через месяц — от голода. Через неделю — если твари вскроют люк. Если мы пойдём... у нас есть шанс. Небольшой. Но есть.

— Я не хочу идти, — Эви складывает руки на груди. — Я не хочу в темноту. Не хочу слышать, как они скребутся рядом.

— Тогда оставайся, — Калёб смотрит на неё. — Я не заставляю.

— Ты не можешь бросить меня здесь!

— Могу. Если ты не хочешь идти, ты не идёшь. Это твой выбор.

Эви кусает губу. До крови.

— Ты мудака, — говорит она.

— Знаю.

— Если я пойду... ты будешь защищать меня?

— Буду.

— До конца?

Калёб смотрит на карту. На красный крест. На свои руки

— перевязанные, в крови.

— До конца, — говорит он.

Ригги сворачивает карту. Кладёт её в карман куртки.

— Надо идти сегодня, — говорит он. — Световой день кончается через пять часов. В коллекторах нет света — только фонарики. У нас три фонарика. И два запасных комплекта батареек.

— Оружие? — спрашивает Вероника.

— Два автомата, дробовик, три пистолета. Патронов — примерно по два магазина на ствол.

— Мало, — Калёб качает головой. — Если нас встретят твари... мы продержимся минут десять. Может быть, пятнадцать.

— Тогда не будем встречаться с ними, — говорит Ригги. — Я знаю путь. Я чувствую.

— Что ты чувствуешь? — Эви смотрит на подростка.

Ригги молчит. Трёт шею — там, где тик.

— Где они, — говорит он наконец. — Я чувствую, где они. И где их нет.

— Ты бредишь.

— Может быть. Но я пока не ошибался.

Калёб смотрит на Ригги долго. Изучает его лицо — с желтизной белков, с неестественно гладкой кожей для подростка. Изучает его руки — с длинными пальцами, с ногтями, которые кажутся слишком толстыми.

— Ладно, — говорит он. — Готовимся к выходу. Эви, собери воду — по две бутылки на человека. Вероника, аптечку и инструменты. Ригги, ты берёшь карту и ведёшь. Я — оружие.

— Когда выходим? — спрашивает Вероника.

— Через час. — Калёб смотрит на вход в коллектор, который начинается где-то внизу, в недрах тюрьмы. — Пока светло. Пока мы не передумали.

Эви отворачивается.

— Я передумала уже сто раз, — шепчет она. — Но всё равно пойду. Потому что оставаться здесь — хуже.

Она идёт к бочкам с водой, берёт пластиковые бутылки. Пальцы трясутся, когда она наливает воду — проливает мимо, на пол.

— Дерьмо, — шепчет она. — Дерьмо, дерьмо, дерьмо.

Ригги стоит в углу и смотрит на неё. Старыми глазами. Грустными.

— Ты сильная, — говорит он. — Я видел. Ты танцевала, когда другие плакали.

— Ты не мог меня видеть. Тебя там не было.

— Я видел твоими глазами.

Эви замирает. Поворачивается к нему.

— Что ты сказал?

Ригги качает головой.

— Ничего. Просто старый человек в молодом теле.

Он уходит.

Эви остаётся стоять с бутылкой воды в руках, чувствуя, как холодный пластик нагревается от её пальцев.

— Странный парень, — шепчет она.

Калёб рядом с ней. Проверяет магазин автомата.

— Все мы теперь странные, — говорит он. — Добро пожаловать в новый мир.

Сверху, через бетон, снова доносится мычание. Ближе, чем утром.

Или просто так кажется.

Глава 3: Глаза в темноте

10:30

Спуск в коллектор начинается с люка в полу оружейной комнаты на третьем, самом нижнем уровне тюрьмы. Калёб откидывает тяжёлую крышку — стальной круг толщиной в палец — и отодвигает её в сторону. Металл скрежещет по бетону, звук разносится по коридорам, умножаясь эхом. Эви вздрагивает каждый раз, когда скрежет повторяется — через секунду, через две, через три. Будто кто-то передразнивает.

Из люка тянет холодом. Не таким, как в бункере — там холод сырой, тяжёлый, пропитанный бетоном и временем. Здесь холод другой: текучий, подвижный, будто сама темнота дышит в лицо.

Калёб смотрит вниз. Фонарик выхватывает первые ступени металлической лестницы — ржавые, покрытые какими-то разводами, похожими на высохшую слизь. Лестница уходит вниз на три метра, потом теряется во мраке.

— Ригги, ты первый, — говорит Калёб. — Ты знаешь дорогу.

Ригги кивает. Он стоит на краю люка, глядя в темноту с выражением, которое Эви не может прочесть. Не страх. Не решимость. Что-то среднее между узнаванием и тоской.

— Там темно, — говорит Ригги. — Темно и мокро.

— Мы знаем, — Вероника поправляет лямку рюкзака. В

рюкзаке — аптечка, инструменты, три бутылки воды, сухари. Она взвешивает его на плече — килограммов двенадцать, не меньше. — Нам нужны противогазы. Ради них стоит рискнуть.

Ригги спускается первым. Его кроссовки с подклеенной подошвой ступают на металлические ступени, и лестница жалобно поскрипывает. Каждая ступень — своя нота. Эви закрывает глаза и слышит: фа, соль, ля-бемоль. Дребезжащая, больная гамма.

Калёб спускается вторым, держа автомат в одной руке, второй — придерживаясь за поручень. Фонарик закреплён на ремне, светит вниз, отбрасывая длинные тени за спины.

Вероника третья. Она двигается медленно, переставляя ноги осторожно — ботинки скользят на ржавых ступенях. Каждый шаг даётся ей с трудом, и Эви слышит, как учёная сбивчиво дышит.

Эви последняя. Она смотрит вверх, на люк, который остался открытым — серый круг света на фоне чёрного потолка. Последний раз она бетонную плиту над головой, но в этот момент бетон кажется ей самым прекрасным, что было в её жизни.

— Закрывай, — кричит Калёб снизу.

Эви наклоняется, хватается за край крышки, подтягивает к себе. Люк закрывается с глухим стуком, и темнота становится абсолютной. На секунду Эви чувствует, как паника подкатывает к горлу — чернота давит на глаза, на лицо, на

лёгкие. Потом Кaleb включает фонарик, и мир возвращается — серый, текучий, неуютный, но существующий.

Она спускается. Ступени скрипят под её босыми ногами — она так и не надела обувь. Надела только носки, толстые, шерстяные, в которых ходила по бункеру. Кaleb спросил: «Ты серьёзно?», она ответила: «В ботинках я не чувствую пола. А здесь надо чувствовать». Он не стал спорить.

Последняя ступень. Эви ступает на дно коллектора.

Ноги проваливаются в воду по щиколотку. Вода ледяная, с маслянистой плёнкой на поверхности. Эви шипит сквозь зубы, чувствуя, как холод поднимается по ногам, выше, выше, до колен. Она негодует — но молча.

Коллектор — это труба. Огромная, трёхметровая в диаметре, сложенная из бетонных колец, которые уходят вдаль, теряясь в темноте. Стены покрыты зелёным налётом — водоросли или плесень, или что-то третье, что растёт в отсутствие света. Вода — чёрная, неподвижная, пахнет сероводородом и ещё чем-то сладковатым, приторным — как запах цветов на кладбище.

Вероника достаёт секундомер — старый механический, на ремешке.

— Сейчас десять сорок три, — говорит она. — Я засекаю время. Если через четыре часа мы не найдём склад, возвращаемся. У нас батареек для фонариков на шесть часов.

— Если мы не найдём склад за четыре часа, возвращаться будет некуда, — говорит Ригги. Он стоит впереди, спиной к

группе, и смотрит в тоннель. — Коллекторы меняются. Вода поднимается. Вход, через который мы вошли, может оказаться под водой.

— Тогда придётся искать другой выход, — Калёб передёргивает затвор автомата. Звук металла гулкий, как выстрел в закрытой комнате. — Веди.

Они идут.

Эви в центре. Калёб впереди, за Ригги, но держится так, чтобы видеть обоих — и проводника, и группу. Вероника замыкает, то и дело оглядываясь назад. У неё в руках — самодельная дубинка: кусок арматуры, обмотанный изолентой. Оружие несерьёзное, но лучше, чем ничего.

Шаг. Ещё шаг. Вода чавкает под ногами, поднимая пузыри. Эви смотрит на стены. Бетонные кольца соединены не встык — между ними зазоры, из которых сочится что-то белое, тягучее, похожее на соплю. Она старается не касаться.

Капель. Сверху, где-то в потолке, вода просачивается сквозь грунт и падает вниз. Капли ударяются о поверхность чёрной воды — плюх. Плюх. Плюх. Звук распространяется по тоннелю, множится, возвращается с задержкой, создавая иллюзию, что кто-то идёт следом. Шаги. Тяжёлые, мокрые шаги за спиной.

Вероника оборачивается. Никого.

— Мне кажется, или... — начинает она.

— Кажется, — обрывает Калёб. — Не оборачивайся. Смотри вперёд.

— Но звук...

— Эхо. Это эхо. — Он не оборачивается, но голос жёсткий. — Если начнёшь оборачиваться, начнёшь паниковать. А паника — это смерть.

Вероника замолкает. Но продолжает оборачиваться. Через шаг. Через два. Каждый раз — пустой тоннель, только вода и зелёные стены. Но звук не исчезает. Шаги. Плюх. Шаги.

Эви чувствует взгляды.

Не со спины — с боков. Из зазоров между кольцами, из трещин в бетоне, из тёмной воды у её ног. Кто-то смотрит. И не один. Они не видят глаз — темнота слишком плотная, фонарик Калеба выхватывает только то, что прямо перед ним. Но Эви знает. Так же, как она знала, когда в клубе какой-то мужик пялился на неё с балкона. Кожей. Затылком. Нутром.

— Здесь кто-то есть, — шепчет она.

— Вода, — говорит Ригги, не оборачиваясь. — Вода создаёт звуки.

— Я не про звуки. Я про взгляды.

Ригги замолкает на секунду. Потом говорит:

— Не смотри на них. Они не любят, когда на них смотрят. Идёт быстрее.

Калёб ускоряется, подстраиваясь. Вероника тоже — её ботинки хлюпают по воде, штаны промокли до колен. Эви старается поспевать, но носки на мокрых ногах скользят, и каждый шаг даётся с трудом.

— Далеко? — спрашивает она.

— Полкилометра, — отвечает Ригги. — Первый поворот налево. Потом ещё двести метров.

— Сколько мы прошли?

— Двести метров.

— А казалось — километр.

— Потому что темно, — философски замечает Ригги. —

В темноте расстояние ощущается иначе.

Сверху снова капли. Плюх. Плюх. Плюх.

И шаги.

Прямо за спиной.

11:20

Они находят тело через полчаса.

Ригги останавливается первым — резко, вскинув руку назад. Калёб замирает, поднимает автомат. Вероника врезается в Калёба — затормозить не успевает, лбом утыкается в его рюкзак. Эви останавливается в двух шагах.

— Что там? — шепчет Калёб.

Ригги не отвечает. Он смотрит вперёд, в темноту, где фонарик выхватывает странный силуэт на стене.

Они подходят ближе.

Стена коллектора расширяется — это не труба, а камера. Круглое помещение диаметром метров пять, с куполообразным потолком. В центре — колодец, закрытый решёткой. И на стене — тело.

Человек приклеен к бетону.

Эви не может отвести взгляд. Мужчина — когда-то он был мужчиной, в военной форме, с нашивками, которые Эви не разбирает на расстоянии. Форма старая — не современный камуфляж, а тот, что носила советская армия. Оливково-зелёный, с красными звёздами на погонах. Восьмидесятые. Может быть, даже семидесятые.

Но тело выглядит так, будто его приклеили вчера.

Он висит на стене — ноги не касаются пола, руки раскинуты в стороны. Вокруг тела — серая, полупрозрачная слизь. Толстым слоем, в палец толщиной, она покрывает бетон и впитывается в форму, смешиваясь с тканью. Там, где слизь касается кожи, плоть стала серой, гладкой, восковой.

— Что это? — голос Эви срывается на шёпот.

Вероника подходит ближе. Очки запотевают от влажности, она снимает их, протирает пальцами, надевает обратно.

— Слизь. Секрет. Похож на тот, что выделяют некоторые виды лягушек для консервации добычи. Парализует, останавливает метаболизм.

— Консервации? — Калёб поднимает бровь. — Он что, еда?

— Или — как они это называют у насекомых — «живой запас».

Ригги подходит к телу. Протягивает руку, касается слизи. Она тянется за пальцем, как карамель.

— «Пастух», — говорит он. — Так они это называют. Пас-

тух охраняет проход.

— Кто называет? — спрашивает Вероника.

— Они. Твари. — Ригги отрывает палец от слизи, смотрит на белую нить, которая соединяет его с телом. — Пастух охраняет гнездо. Если кто-то чужой приближается — будит стаю.

Калёб поднимает автомат, крутит головой, вглядываясь в темноту по бокам камеры.

— Где пастух?

Ригги пожимает плечами.

— Не здесь. Может быть, ушёл. Может быть, мы не спровоцировали.

— А это что? — Эви показывает на тело солдата. — Мы прошли мимо?

— Он не шевелится. Не пахнет. — Ригги нюхает слизь на пальце, морщится, вытирает о штаны. — Пастух чувствует только движение. Если мы тихо...

Грудь трупа вздымается.

Эви видит это первой — потому что смотрела прямо туда, когда Ригги говорил. Футболка под формой натягивается, поднимается, опускается. Вдох. Выдох. Ритмично, как у спящего.

— Он жив, — выдыхает Эви.

Все замирают.

Вероника делает шаг вперёд, достаёт из рюкзака фонарик, светит прямо в лицо солдата.

Лицо — серое, восковое, с закрытыми глазами. Губы сомкнуты, ноздри не раздуваются — дышит он ртом или грудью, не понятно. Вокруг глаз — белые разводы, будто соль выступила на коже. Волосы — седые, редкие, прилипли ко лбу.

— Он жив, — повторяет Вероника. — Метаболизм замедлен, но не остановлен. Уровень кислорода в крови... я не знаю. Может быть, его кожа впитывает кислород из воздуха.

— Или из слизи, — добавляет Ригги. — Слизь питает. Как плацента.

Калёб сглатывает. Он видел много мёртвых. Видел умирающих. Но такого не видел никогда — человек, приклеенный к стене, который дышит, но не просыпается, не двигается, не кричит. Живой труп. Будущая еда, которая ещё не знает, что умрёт.

— Мы должны помочь ему, — говорит Эви. — Отодрать от стены. Вытащить.

— Нет, — Калёб качает головой.

— Калёб!

— Я сказал нет. Посмотри на него. Он здесь — может быть, годы. Слизь стала частью его. Если ты оторвёшь его, он умрёт через минуту. Кровотечение, повреждение тканей, болевой шок.

— Но он жив!

— Пока здесь. Пока его не съели. — Калёб поворачивается к ней. В глазах — усталость. — Эви, я понимаю, это тя-

жело. Но мы не можем его спасти. Даже если оторвём. У нас нет лекарств, нет оборудования, нет даже нормальных бинтов. Мы можем только дать ему умереть быстрее.

— Или медленнее, — добавляет Вероника. — Если оставить его здесь, он проживёт ещё... я не знаю. Месяцы. Годы. Слизь поддерживает жизнедеятельность.

— Это не жизнь, — шепчет Эви.

— Возможно. Но это существование. И это не наше решение — прекращать его.

Ригги смотрит на солдата долгим взглядом. Потом отводит глаза.

— Нам надо идти, — говорит он. — Мы слишком долго здесь.

Он поворачивается и идёт к выходу из камеры — в узкий проход, который ведёт дальше, в темноту.

Калёб следует за ним. Вероника — за Калёбом.

Эви остаётся на секунду. Смотрит на солдата. На его грудь, которая поднимается и опускается. Вдох. Выдох. Вдох.

— Прости, — шепчет она.

И уходит.

Она не видит, как веки солдата дрожат. Как под серой кожей что-то движется — червеобразные тени прокладывают дорожки под поверхностью. Как рот открывается — беззвучно, широко, слишком широко для человеческой челюсти.

Но звук она слышит.

Тихий, влажный звук. Будто кто-то ломает сухую ветку.
Она оборачивается.

Темнота. Только силуэт тела на стене.

Ничего.

Она догоняет группу.

11:45

Они идут ещё двадцать минут, когда звук возвращается.

Не капли. Не шаги. Что-то новое — ритмичный, низкий гул, который вибрирует в бетоне, передаётся через воду, через стены, через воздух. Кaleb чувствует его костями. Вероника — зубами.

Эви — всем телом.

Гул становится громче, когда они входят в очередной тоннель — уже, чем предыдущий, с более низким потолком. Здесь приходится идти пригнувшись, даже Калебу, который на голову ниже Ригги.

— Что это? — спрашивает она.

— Вентиляция, — отвечает Ригги, не оборачиваясь. — Мы под тюремными корпусами. Наверху — система воздухопроводов.

— Не похоже на вентиляцию.

— А на что похоже?

— На... я не знаю. Надрыв. Будто кто-то дышит.

Ригги останавливается. Поворачивается к ней. В свете фонарика его лицо выглядит старым — морщины, которых не

было утром, глубокие тени под глазами, желтизна белков.

— Кто-то и дышит, — говорит он. — Много кто-то.

— Твари?

— Да.

Эви чувствует, как земля уходит из-под ног. Или вода — она всё ещё по щиколотку, но сейчас кажется, что она поднимается, доходит до лодыжек, до икр.

— Сколько? — спрашивает Калерб. — Где?

Ригги закрывает глаза. Дышит ртом — глубоко, шумно, будто принимает.

— Впереди. Метров сто. Поворот направо, потом ещё пятьдесят — и гнездо. Маленькое.

— Гнездо?

— Так я называю место, где они спят. Лежище. Много тел. Много слизи.

Вероника достаёт карту, разворачивает её при свете фонарика. Водит пальцем по линиям.

— Склад военного имущества должен быть в другом направлении. Нам не нужно проходить через гнездо.

— Нужно, — Ригги открывает глаза. — Есть два пути. Длинный — полтора километра в обход, через затопленные тоннели. И короткий — четыреста метров через гнездо.

— Затопленные — насколько?

— Вода по пояс. И тихо. В гнезде — мелко, но шумно.

Калерб смотрит на Эви. На её босые ноги. На воду, в которой она стоит.

— По пояс — это холодно. Она замёрзнет.

— Я не замёрзну, — Эви поднимает подбородок. — Я танцевала в клубе, где кондиционер вымораживал всё. Два часа в бикини. Я не замёрзну.

— Это не клуб. Если вода поднимется до пояса, через час у тебя начнётся гипотермия. Ещё через час — потеря сознания.

— Тогда пойдём через гнездо.

— Эви...

— Калев, ты спросил меня, хочу ли я идти. Я сказала — да. Ты обещал защищать. Значит, защищай там, где я решу. А я решила — через гнездо. Быстрее.

Калев сжимает автомат так, что костяшки белеют. Хочет возразить — но не может. Потому что она права. Быстрее — значит меньше времени в коллекторах, меньше шансов, что батарейки сядут, меньше шансов, что их застанет прилив.

— Ригги, ты уверен, что сможешь провести нас тихо? — спрашивает Вероника.

Ригги кивает.

— Я проходил там. Они спят. Если не шуметь, не светить в глаза, не касаться...

— А если кто-то проснётся?

— Тогда бежим.

Ответ не успокаивает. Но других вариантов нет.

Они идут дальше.

Тоннель сужается ещё больше. Теперь Калев идёт согнув-

шись почти вдвое, автомат волочится по воде, поднимая рябь. Вероника задевает головой за бетонную арку, охает, трогает макушку — крови нет, но шишка будет.

Эви идёт последней, босиком, чувствуя дно. Камни. Осколки бетона. Что-то скользкое, вязкое — она старается не думать, что это.

Гул усиливается. Теперь это не просто вибрация — слышимый звук, низкий, горловой, похожий на дыхание спящего великана. Или на храп. Десятки спящих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.